



В. А. Туниманов

ОТЗВУКИ РОМАНА О. БАЛЬЗАКА «ОТЕЦ ГОРИО» В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО*

Самое раннее упоминание Бальзака Достоевским содержится в юношеском письме к брату М. М. Достоевскому от 9 августа 1838 г. Будущий писатель в июне — июле находился в лагерях в пригороде Петербурга Петергофе, где запоем читал Гофмана, Гёте, Гюго и других европейских и русских писателей. Был прочитан также «почти весь Бальзак», о котором Достоевский восторженно восклицает: «Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека» (28₁; 51). Это высказывание так и осталось самым пространственным и восторженным, и если бы не последовавший в 40-е гг. перевод «Евгении Гранде», то можно было бы даже предположить, что Достоевский еще до каторги охладел к Бальзаку. Но именно перевод «Евгении Гранде» стал первой напечатанной литературной работой Достоевского, которой он ведьма дорожил; в письме к М. М. Достоевскому, датированном второй половиной 1844 г., он не скупится на похвалы как роману «великого» Бальзака, так и собственному переводу: «на праздниках я перевел „Евгению Grandet“ Бальзака (чудо! чудо!).

* Перепечатываем с разрешения наследников последнюю по времени статью Владимира Артемовича Туниманова о Достоевском. Впервые она была опубликована в сб.: *Художественное сознание и действительность: Межвуз. сб. : К 100-летию со дня рождения Б.Г.Рейзова / Под ред. А.Г.Березиной.* СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2004. С. 302–322 (Проблемы истории зарубежных литератур; Вып. 6).

Перевод бесподобный» (28₁; 86), в том же письме он цитирует роман, а в письме к опекуну П. А. Карепину от 19 сентября 1844 г. завуалированно сопоставляет его со скупцами Бальзака. И вновь вспоминает Достоевский переведенный им роман Бальзака, сообщая М. М. Достоевскому (30 сентября того же года) о близящемся окончании работы над «Бедными людьми»: «я кончаю роман в объеме „Eugénie Grandet“» (28₁; 100).

Словом, этот роман Бальзака несомненно сыграл немалую роль в становлении Достоевского—художника. И тем поразительнее звучат слова Достоевского в подготовительных материалах к «Дневнику писателя» 1876 г.: «Реализм есть фигура Германна (хотя на вид что может быть фантастичнее), а не Бальзак. Гранде — фигура, которая ничего не означает» (24; 248). Конечно, очевиден полемический контекст этого высказывания Достоевского. Он полемизирует со статьей Э. Золя «Жорж Занд и ее произведения. (Парижские письма, 16)», видит в Золя и его «учителе» Бальзаке приземленных реалистов в отличие от реалистов «фантастических», к которым относит себя и Пушкина — автора «Пиковой дамы». Отсюда подчеркивание контрастов и предельно заостренная резкость формулировок: «Реалисты неверны, ибо человек есть целое лишь в будущем, а вовсе не исчерпывается весь настоящим»; «В одном только реализме нет правды»; «Золя просмотрел в Ж. Занде (в первых повестях) поэзию и красоту, что гораздо реальнее, чем оставлять человечество при одной только грязи текущего. При одной только „жизненной правде“ (правде, по мнению Золя), из которой нельзя извлечь никакой мысли» (24; 247, 248). Мнение пристрастное, особенно по отношению к Бальзаку, отнюдь не чуждавшемуся «красоты» и фантастического, и как будто свидетельствующее о явной перемене отношения Достоевского к одному из кумиров молодости. И оно не может быть расценено как случайное, возникшее в пылу полемики. Впрочем, так резко о Бальзаке Достоевский высказался только один раз. Обычно он называл Бальзака среди тех европейских писателей, которые были особенно популярны среди русских читателей в 1830–1840-е гг. Чрезвычайно характерна, в частности, иерархия европейских писателей, выстроенная Достоевским в знаменитой статье «Несколько слов о Жорж Занде»: «Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что Жорж Занд <...> заняла у нас сряду чуть не самое первое место в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе. Даже Диккенс, явившийся у нас почти одновременно с нею, уступал ей, может быть, в внимании нашей публики. Я не говорю уже о Бальзаке, явившемся прежде нее и давшем, однако, в тридцатых годах такие произведения, как „Евгения Гранде“ и „Старик Горио“ (и к которому так был несправедлив Белинский, совершенно проглядевший его значение во французской литературе)» (23; 33–34). Разумеется, Достоевский здесь рассуждает не с эстетической точки зрения, а восстанавливает в памяти непосредственное впечатление и вкус тогдашних русских читателей. Его собственные оценки могли и не совпадать с господствующим мнением и расходиться с мнением ведущих критиков, которые могли и жестоко ошибаться, как ошибся

Белинский, «проглядевший» значение Бальзака не только во французской, но и в русской литературе. Об этой ошибке критика Достоевский счел необходимым сказать еще в 1861 г. в приписке к статье Н. Н. Страхова «Нечто о полемике»: «Вообще многие поэты и романисты Запада являются перед судом нашей критики в каком-то двусмысленном свете. Не говоря уже о Шиллере, вспомним, например, Бальзака, Виктора Гюго, Фредерика Сулье, Сю и многих других, о которых наша критика, начиная с сороковых годов, отзывалась чрезвычайно свысока. Перед ними был виноват отчасти Белинский. Они не приходились под мерку нашей слишком уже реальной критики того времени» (19; 90).

В этой же приписке-заметке Достоевский рекомендует статью «Поэты и романисты Запада перед судом нашей критики», которая была напечатана в следующем (мартовском) номере журнала под немного измененным названием: «Знаменитые европейские поэты перед судом критики». Статья принадлежит главному литературному критику журнала «Время» Лл. А. Григорьеву и во многом отражает мнения и вкусы самого Достоевского. Вспомнил Григорьев и статью Белинского «Литературные мечтания», в которой тот выступил «жарким поклонником Бальзака и других современных французских деятелей»¹. И далее критик писал, что Белинский в своем «первоначальном поклонении» Бальзаку «был гораздо правее, чем в последующем отречении от него»². К этому месту статьи Григорьева в журнальном тексте сделано было примечание, развивающее мысли Достоевского в упомянутой приписке к работе Страхова, на что обратил внимание еще Л. П. Гроссман: «С Бальзаком в нашей критике вышла престранная история. Из всех современных ему писателей Франции он более всего подходил под мерку нашей критики сороковых годов. Помимо отрицания, которого у него почти не было, тогдашняя натуральная школа должна бы была благоговеть перед ним. Реальнее его, может быть, и не было писателя во Франции. А по типам, чем мы особенно тогда дорожили и теперь дорожим, он стоит совершенно уединенно в своей литературе. Припомним „Père Goriot“, „Eugénie Grandet“, „Les parents pauvres“ и другие его высокие произведения»³. По поводу приведенного примечания Г. М. Фридендер дает следующий развернутый и обстоятельный комментарий: «Под <...> примечанием, повторяющим мысль, высказанную Достоевским в <...> приписке, нет подписи „Ред.“ <...> Поэтому у нас нет оснований считать его принадлежащим Достоевскому, а не Григорьеву. Тем не менее то или другое участие Достоевского в редактировании текста примечания более чем вероятно. За это говорит не только очевидная связь примечания к статье Григорьева по содержанию с припиской Достоевского и самый его стиль, но и данное в конце перечисления произведений Бальзака: не случайно, по-видимому, из числа произведений французского романиста выделены романы, особенно ценившиеся Ф. М. Достоевским...» (19; 290).

¹ Время. 1861. № 3. С. 43.

² Там же. С. 58.

³ Там же. С. 58–59.

Здесь все сказано точно. Думаю даже, что имело смысл поместить «бальзаковское» примечание в разделе «Dubia» (впрочем, оно полностью приведено в комментариях, а это почти равнозначно).

И очевидно, что особенно ценил Достоевский (во все периоды жизни) роман «Отец Горио». Это мощно подтвердил писатель незадолго до смерти. Речь, естественно, идет о знаменитом пассаже — свободном и эмоциональном пересказе беседы Бьяншона и Растиньяка в Люксембургском саду, вклинившемся в самый центр текста речи о Пушкине и исключенном на стадии наборной рукописи «Дневника писателя» (не прозвучал этот сюжет и на пушкинских торжествах). Не вошел в печатный текст и другой большой пассаж — о «Капитанской дочке» (см.: 26; 292–293, 338–340). В комментариях ПСС эти сокращения объясняются «желанием писателя не затягивать речи» и «стремлением придать ей наибольшее внутреннее единство и цельность, которые позволили бы ему при произнесении держать слушателей в постоянно возрастающем напряжении» (26; 455). С этими общими предположениями трудно не согласиться. Но они все же нуждаются в уточнениях, тем более, что сокращения коснулись не только речи, но и публикации, содержащей и очень резкое полемическое «приложение» к ней. Что касается большого отрывка о «Капитанской дочке» то он был зачеркнут в наборной рукописи секретарем редакции Московских ведомостей К. А. Иславиным, с чем вынужден был согласиться Достоевский. А вот от «бальзаковского» фрагмента Достоевский отказался сам. И это сокращение возникло закономерно и неизбежно, о чем свидетельствуют некоторые любопытные отличия наборной рукописи от черновых. В печатном тексте (и в речи) Достоевский так разъясняет глубокий смысл ответа Татьяны Лариной Евгению Онегину: «Высказала она это именно как русская женщина, и в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы <...>. Но что же: потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: „Я вас люблю“, потому ли, что она, „как русская женщина“ (а не южная или не французская какая-нибудь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием чести, богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. Но она „другому отдана и будет век ему верна“» (26; 141). Ироническое уточнение «а не южная или не французская какая-нибудь» было вписано Достоевским в наборную рукопись и прозвучало 8 июня в зале Московской городской думы, что отчетливо запомнилось К. А. Тимирязеву, одному из немногих слушателей, избежавших гипнотического воздействия ораторского искусства писателя: «Уставившись своими злобными маленькими глазками на Тургенева, поместившегося под самой кафедрой и с добродушным вниманием следившего за речью, Достоевский произнес следующие слова: „Татьяна могла сказать: другому *отдана* и буду век ему верна“, потому что она была русская женщина, а не какая-нибудь француженка или испанка“»⁴.

⁴ Тимирязев К. А. Наука и демократия. М., 1920. С. 370.

«Добродушное внимание» Тургенева очень понятно. Достоевский, можно сказать, «усыпил» его бдительность, несколько ранее чрезвычайно лестно отозвался о Лизе Калитиной, которую сопоставил с Татьяной Лариной: «Такой красоты положительный тип русской женщины уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в „Дворянском гнезде“ Тургенева» (26; 140). И этого места в черновых автографах не было; оно прозвучало в речи и вписано в наборную рукопись. Тем самым, видимо, была predeterminedена и судьба бальзаковского отрывка. Достоевскому крайне необходимо было подчеркнуть, что таковым был ответ именно русской женщины, в котором выразилась «русская правда»⁵. Сопоставление ответа Татьяны с ответом бедного французского студента могло только помешать апофеозу пушкинской героини и внести нежелательный «европейский» элемент в подчеркнутую русскую концепцию речи. И отрывок был устранен как невольно наносящий некоторый урон этой концепции.

К счастью, он сохранился в двух вариантах (черновой автограф и наборная рукопись) и был напечатан в ПСС мелким шрифтом в разделе «Варианты» (этот текстологический принцип не всегда представляется удачным). Имеет смысл здесь процитировать текст чернового автографа, который следовал за фразой: «И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми?» (26; 142). Вот он: «У Бальзака в одном его романе один молодой человек, в тоске перед нравственной задачей, которую не в силах еще разрешить, обращается с вопросом к другу, своему товарищу, студенту, и спрашивает его: послушай, представь себе, вот ты нищий, у тебя ни гроша, и вдруг где-то там, в Китае, есть дряхлый, больной мандарин, и тебе стоит только здесь, в Париже, не сходя с места, сказать про себя: умри, мандарин, и он умрет, но за смерть мандарина тебе какой-то волшебник пришлет затем миллион, и никто этого не узнает, и главное — он где-то в Китае, он, мандарин, все равно что на луне или на Сириусе — ну что, захотел бы ты сказать: „Умри, мандарин“? Студент ему отвечает: „Est'il bien vieux ton mandarin? L'h bien non, je ne vieux pas!“ Вот решение французского студента. Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, чем этот бедный студент, с ее высокою душой, с ее сердцем, столь пострадавшим?» (26; 288)⁶.

⁵ Эта цель отчетливо заявлена как в речи, так и — почти лозунгом — в одном из набросков к ней: «Финал „Онегина“: русская женщина, сказавшая русскую правду, — вот чем велика эта русская поэма» (26; 217).

⁶ Достоевский, в сущности, пересказывает, усиливая фантастический колорит, центральный эпизод романа Бальзака. И цитирует неточно, но сохраняя смысл и дух, ответ Бьяншона (Ср.: «Est-il bien vieux, le mandarin? Mais, bah! Jeune ou vieux, paralitique ou bien portent, ma foi... Diantre! Eh bien, non»).

Л. П. Гроссман имел серьезные основания заключить в своей блестящей работе «Бальзак и Достоевский»: «Это отрывок крупнейшего значения»⁷. И он ярко осветил значение произведений Бальзака для Достоевского. То, что находилось в сфере догадок и предположений, получило сильное и реальное обоснование. Ученый виртуозно воспользовался предоставленной самим Достоевским редчайшей возможностью, продемонстрировав убедительно и обстоятельно, что роман «Отец Горио» «представляет собой необходимые пролегомены к изучению „Преступления и наказания“»⁸. Бесспорно и такое важное наблюдение Гроссмана: «Разговор парижских студентов, столь поразивший Достоевского, почти буквально повторен в „Преступлении и наказании“»⁹. Разговор в одном «плохоньком трактиришке» между студентом и молодым офицером, «случайно» подслушанный Раскольниковым, — прямая параллель беседе в Люксембургском саду или, как пишет Гроссман, «парафраз бальзаковской беседы о мандарине с тем же заключительным ответом»¹⁰. Столь же очевидным является утверждение, что «и в чисто теоретическом обосновании своего преступления герой Достоевского близок Бальзаку»¹¹. Интересны и другие наблюдения не столь масштабного характера; так, ученый обратил внимание на то, что «словечко Вотрена „assez cause“ вносится Достоевским и в его полемические статьи и даже в романы: в „Преступлении и наказании“ оно приводится Свидригайловым»¹².

Есть, однако, в работе Гроссмана неточности и связанное с ними чрезмерное сближение Раскольникова с Растиньяком. На одну неточность, и пожалуй, наиболее серьезную, указал Б. Г. Реизов в статье «„Отец Горио“ и „Библиотека для чтения“». Гроссман, а вслед за ним и большинство других исследователей, полагали, что Достоевский ориентировался на перевод А. Н. Очкина в «Библиотеке для чтения». Ученый принципиальное значение придавал окончанию романа именно в этом переводе, где колеблющийся герой Бальзака «переступает Рубикон». Не сомневаясь, что таким и было окончание романа в первой редакции, ученый процитировал эпилוג по публикации в журнале как яркую иллюстрацию родственности дорог Растиньяка и Раскольникова: «Он пошел в Париж. Дорогой он еще колебался, направлять ли шаги свои к красивому жилищу в улице Артуа, или к прежней, грязной квартире у мадам Воке, и очутился у дверей дома г-на Тайфлера. Тень Вотрена привела его к этому дому и положила руку на его замок. Он зажмурил глаза, чтоб ее не видеть. Он искал еще в своем сердце и в своей нищете честного предлога. Викторина так нежно любила своего отца! Растиньяк спросил г-жу Кутюр. Теперь он миллионщик, и горд, как барон»¹³.

⁷ Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. М., 1925. С. 82.

⁸ Там же. С. 94.

⁹ Там же. С. 102–103.

¹⁰ Там же. С. 103.

¹¹ Там же. С. 106.

¹² Там же. С. 70.

¹³ Там же. С. 102.

Но такого финала нет ни в одном издании романа Бальзака. Это фантазия переводчика, приделавшего к нему, по меткому выражению Белинского, «пошло—счастливое окончание». Перевод Очкина тенденциозно искажал текст романа: «Заботливой рукой вычеркнуты из романа десятки страниц, в которых, по мнению переводчика, не заключалось ничего интересного. Исчез китайский маюдарин, прекрасно формулировавший поставленную перед Растиньяком проблему, — по-видимому, она показалась слишком сложной или соблазнительной <...>. Переводчик очистил разговор Вотрена с Растиньяком от утилитаристской и циничной философии, недопустимой в благонамеренном журнале»¹⁴. То есть переводчиком фактически было выброшено то, что как раз и привлекало сугубое внимание Достоевского. Характерно и примечание редакции журнала, выдержанное в недопустимом и развязном тоне: «Из философии г. Бальзака, которую нам очень хочется назвать философией, выжатой из туалетной губки, можно иногда получить замечания хорошие и согласные со здоровым рассудком, сказав диаметрально противоположное тому, что он утверждает. Мы во многих местах его повести употребили этот легкий способ быть основательными»¹⁵.

Между тем в значительной степени на перевод Очкина опирался Гроссман, сближая Раскольников и Растиньяка, криминализируя образ последнего: «...когда преступление совершается помимо его разрешения, он, после нового притока внутренней борьбы, принимает выгодные для себя последствия совершенного злодеяния и достигает цели, шагнув через кровь»¹⁶. Б. Г. Реизов закономерно ставит под сомнение правомерность такого тесного сближения, предполагающего, что Достоевский главным образом отталкивался от перевода, напечатанного в журнале «Библиотека для чтения»: «Теория зла, служащего благу, теория цели, оправдывающей средства, неожиданно получила свое выражение в этом искаженном переводе. И, если бы Достоевский был знаком с „Отцом Горио“ только по

¹⁴ Реизов Б. Г. Бальзак: Сб. статей, Л., 1960. С. 166.

¹⁵ Библиотека для чтения. 1835. Т. IX. С. 94. — На этом фоне выгодно отличался перевод в журнале «Телескоп». Роман Бальзака был переведен там «целиком, без каких-либо сокращений, только с некоторыми смысловыми ошибками, и в общем весьма удачно. Никаких уступок цензуре и сколько-нибудь значительного смягчения иногда весьма рискованного текста журнал не производил» (Реизов Б. Г. Бальзак. С. 164). Лишь один упрек сделал Реизов переводчику «Телескопа»: «Только последняя фраза романа была несколько изменена, может быть из-за невнимательности переводчика. Изменение это, впрочем, весьма любопытно. Похоронив Горио и произнеся свою „грандиозную“ фразу: „А теперь посмотрим, кто кого“, Растиньяк, „начиная свою борьбу с Обществом, отправился обедать к мадам де Нюсинжен“ — стоит в тексте Бальзака. В переводе „Телескопа“ исчезли слова о вызове, который Растиньяк бросил обществу, и фраза звучит иначе: „Потом он возвратился пешком в улицу д'Артуа и пошел обедать к г-же фон Нущинген“ (Там же). Упрек несправедливый. В издании 1835 г., а только оно и могло быть известно переводчику, в последнем предложении и намек нет на борьбу с Обществом: «Puis il revint à pied d'Artois et alla dinner chez madame de Nusingen» (Le Père Goriot. Paris, 1835. Vol. 2. P. 374). Не было в первом издании и «грандиозной» фразы («cet mots grandioses»). Там Растиньяк «dit ce mot suprême».

¹⁶ Гроссман Л. П. Поэтика Достоевского. С. 95.

„Библиотеке для чтения“, то „Преступление и наказание“ следовало бы рассматривать как страстную и принципиальную полемику с Бальзаком по одному из важнейших вопросов нравственности»¹⁷.

Но никакой полемики Достоевского ни в «Преступлении и наказании», ни в других произведениях писателя нет. Вряд ли Достоевский обратил внимание на перевод романа, из которого был исключен особенно запомнившийся ему диалог о мандарине (несомненно, что он должен был всецело согласиться с ироническим отзывом Белинского об этом переводе). Сомнительно и то, что Достоевский был знаком с переводом романа в «Телескопе» и — тем более — сравнивал разные переводы. Писатель читал роман в оригинале и, видимо, в разных изданиях¹⁸ как в молодости, так и позднее. Разные собрания сочинений Бальзака на французском языке хранились в его библиотеке. Достоевский цитирует и пересказывает именно оригинальный текст, а следовательно, светская карьера Растиньяка и его облик рисовались ему в том свете, в каком они изображены в произведении Бальзака. А там Растиньяк совсем не похож на демоническую личность и сверхчеловека, хотя он иногда и произносит очень бунтарские фразы, вроде: «Когда атакуешь небеса, надо брать на прицел самого Бога!»¹⁹. Но это уже сказалось влияние на молодого честолюбца искусительных и соблазнительных речей имморалиста Вотрена, внушающего Растиньяку, что тот «человек высшего порядка», «высокого полета» в отличие от «жалких илотов» и добродетельных «головастиков». Вотрен откровенно льстит ему: «Такие разговоры я веду не с каждым, но вы — человек высшего разряда, вам можно сказать всё, вы всё сумеете понять. Вы недолго будете барахтаться в болоте, где живут окружающие нас головастики»²⁰. Но, похоже, этот «ученик» Бенвенуто Челлини не верит в необыкновенность рефлектирующего и колеблющегося студента, что невольно прорывается и в его цинично-искусительных монологах: «...первый ваш испуг пройдет, подобно страху новобранца, и вы привыкнете к мысли, что люди не что иное, как солдаты, обреченные умирать для блага тех, кто сам себя провозглашает королем. Времена сильно изменились. Бывало, говорили какому-нибудь смельчаку: „Вот сто золотых, убей такого-то“ — и преспкойно ужинали, ни за что ни про что спровадив человека на тот свет. Теперь я предлагаю вам большое состояние за кивок головой, что не роняет вас несколько, а вы еще колеблетесь. Дряблый век»²¹.

Реизов правомерно опровергает очень распространенное мнение о Растиньяке, биографию которого «рассматривали как становление негодяя», видя в нем, по сути, талантливого ученика Вотрена, преступника и имморалиста «высшей породы», каким стремился его сделать «Наполеон каторги»: «Он не был ни святым, ни злодеем. Растиньяк был задуман как

¹⁷ Реизов Б. Г. Бальзак. С. 172.

¹⁸ Об истории создания романа и его прижизненных изданиях см.: *Roques M. Manuscrits et éditions du «Père Goriot» // Revue Universitaire. 1905. Vol. 2. P. 34–42.*

¹⁹ Бальзак О. Собр. соч.: В 15 т. V., 1952. Т. 3. С. 60.

²⁰ Там же. С. 146–147.

²¹ Там же. С. 146.

„средний“ человек, какие у Бальзака встречаются чаще, чем это иногда кажется»²². Он, собственно, ничем не выделяется — ни честолюбивыми порывами, ни манерами, ни стилем, даже речи героя — «шаблонный вздор, пригодный для новичков»²³. И его мечты, можно сказать, типичные мечты молодого и бедного человека, стремящегося во что бы то ни стало «пробиться»; слова Вотрена попали на хорошо подготовленную почву: «Демон роскоши уязвил его сердце, лихорадка паживы овладела им, от жадности золота пересохло в горле»; «Речи Вотрена при всем своем цинизме запали ему в душу, как в память девушки врезается гнусный профиль сводни, говорящей: „Любви и золота по горло!“»²⁴. Большая доля истины заключатся в выводе Реизова: «Растиньяк — обычный средний человек, сын эпохи, всё подвергнутой сомнению и „личному анализу“, безразличной к традиции, равнодушной к религии и обязанной своим происхождением великой революции»²⁵. Полагаю, однако, что к этой во многом справедливой формуле необходимо сделать одну немаловажную поправку: Растиньяк в романе человек и патриархальный и религиозный; голос сердца и вера в Бога как раз и удерживают его от преступления и бездны, в которую энергично подталкивает героя «страшный сфинкс из пансиона Воке»: «Быть может, только те, кто верит в Бога, способны делать добро не напоказ, а Растиньяк верил в Бога»; «О да, Бог есть и сделает мир наш лучше или же наша земля — нелепость»²⁶.

Вотрену в романе противостоит «прекрасный человек» Бальзака студент-медик Бьяншон (отчасти таковы же функции Разумихина в «Преступлении и наказании»): «В „Отце Горю“ он играет роль доброго гения Растиньяка, он помогает ему спастись от соблазна»; «легко и без колебаний разрешает проблему, мучающую Растиньяка. Бьяншон оказывается выразителем того непосредственного нравственного чувства, над которым не властны никакие софизмы»²⁷. Реизов даже считает, что советы Вотрена «парализуются влиянием Бьяншона»²⁸. Все-таки не «парализуются». Слишком мощно излагает Вотрен свою философию жизни. Ощутима и несомненная расположенность Бальзака к нему, к этому, в сущности, главному герою романа. И Бальзак сильно упростил задачу спасения заблудшей души Растиньяка, устранив с помощью полиции Вотрена из поля повествования романа, заключительная часть которого явно слабее и мелодраматичнее.

Не очень убедительным выглядит в романе и спасение Растиньяка: потребовалось чрезвычайное стечение обстоятельств, даже «чудо», поло-

²² Реизов Б. Г. Бальзак. С. 152.

²³ Бальзак О. Собр. соч. Т. 3. С. 115. — Эту шаблонность чувствует и он сам: «Однако, — подумал он, — для разговора с ними я изобретаю фразы, достойные любого парикмахера» (Там же. С. 69).

²⁴ Там же. С. 64, 108.

²⁵ Реизов Б. Г. Бальзак. С. 153–154.

²⁶ Бальзак О. Собр. соч. Т. 3. С. 137, 242.

²⁷ Реизов Б. Г. Бальзак. С. 148.

²⁸ Там же. С. 146.

жившее конец измучившим героя колебаниям. Он отступил от роковой черты лишь тогда, когда ясно почувствовал, что убийство «мандарина» из сферы фантастических предположений переместилось в гнусную и грязную действительность. Растиньяк отшатнулся от «лужи крови». И, хотя повествователь объявляет, что победа «осталась за лучшими влечениями юности» (а ранее считает необходимым уточнить, что его герой «замарал пока лишь платье»²⁹), всё это напоминает счастливую и случайную («чудесную») развязку, которая не так уж многое меняет. Вотрен весьма преуспел и уж во всяком случае добился «кивка головы»: «В глубине души он уже отдался полностью на волю Вотрена, сознательно не вдумываясь ни в причины приязни к нему этого необычайного человека, ни в будущее их союза. Необходимо было чудо, чтобы спасти его от падения в пропасть, над которой он занес ногу час назад, обменявшись с мадмуазель Викториной самыми нежными обетами <...>. Отлично сознавая, что поступает гадко, а вместе с тем не отказываясь от своих намерений, Эжен старался убедить себя, что, осчастливив женщину, он тем искупит простибельный свой грех, и в таких бореньях с совестью он даже похорошел от решимости идти направо и светился всеми огнями ада, пылавшего в его душе»³⁰. Словом, у Поля Ронэ были серьезные основания утверждать, что в некотором смысле Растиньяк все же «убил своего мандарина»³¹.

В том-то и принципиальное отличие Бьяншона от своего друга, что он не соглашается на «убийство мандарина» ни при каких обстоятельствах. Сначала он воспринимает вопрос Растиньяка как шутку (но тот, между прочим, никогда не шутит — серьезен, многословен и мрачен, его буквально съедает, как сказал бы Достоевский, «неподвижная идея»; напротив, Бьяншон остроумный, веселый и, так сказать, легкий человек), но, убедившись в обратном, отвечает решительным «нет», подкрепляя свой ответ медицинско-физиологическими аргументами: «Человеческие склонности находят и в пределах очень малого круга такое же полное удовлетворение, как и в пределах самого большого. Наполеон не съедал двух обедов и не мог иметь любовниц больше, чем студент-медик, живущий при Больнице капуцинов. Наше счастье, дорогой мой, всегда будет заключено в границах между подошвами наших ног и нашим теменем, — стоит ли оно нам миллион или сто луидоров в год, наше внутреннее ощущение от него будет совершенно одинаково. Подаю голос за сохранение жизни твоему китайцу»³². Особенно любопытно тут упоминание Наполеона,

²⁹ Бальзак О. Собр. соч. Т. 3. С. 177, 140.

³⁰ Там же. С. 154–155.

³¹ Ronai P. Tuer le mandarin // *Revue de littérature comparée*. 1930. P. 522.

³² Бальзак О. Собр. соч. Т. 3. С. 124. — Есть в романе и еще один персонаж, без малейших колебаний отдающий «голос» за сохранение жизни мандарину. Это Викторина Тайфер, которую гнетет мысль об устройстве счастья на страданиях других: «Если бы мое благополучие досталось мне ценою чьей-нибудь жизни, мне было бы тяжело им пользоваться, — сказала Викторина. — Раз для моего счастья необходимо, чтобы брат мой умер, я предпочту навсегда остаться здесь» (Там же. С. 167–168). Слова героини убедительнейшим образом демонстрируют иллюзорность и цинизм намерения Растиньяка «осчастливить» ее.

который, по точному определению Реизова в статье «Мотивы титанизма в „Человеческой комедии“», «оказался новым воплощением титанов, владевших воображением людей первой половины XIX столетия»³³. Бальзак мифологизирует личность Наполеона: «Полководец, дипломат, государь, „человек–судьба“, как называл его Бальзак в „Шуанах“, превратился в титана, в Прометея прикованного, в богоборца. Вокруг этого имени начинается мифотворчество, и биография Бонапарта превращается в нечто вроде солнечного мифа»³⁴. Обратил внимание Реизов и на вышедшую в конце 1838 г. книгу «Изречения и мысли Наполеона, собранные Ж.–Л. Годи–младшим», — не составленную, а написанную, очевидно, Бальзаком³⁵. Среди приведенных Реизовым изречений Наполеона – Бальзака было и одно, многократно в разных вариациях прозвучавшее в творчестве французского писателя, ставшее главным пунктом «теории» Раскольниковова: «Есть две морали — для великих людей и для всех остальных»³⁶.

Но в рассуждениях Бьяншона нет Наполеона–титана, Наполеона солнечного мифа. Студент–медик говорит о человеке, возможности которого жестко ограничены временем и природой.

Бальзак приписывает парадокс о мандарине Руссо.³⁷ Однако найти парадокс у Руссо или других писателей XVIII в.³⁸ пока не удалось. Б. Г. Реизов, вслед за Полем Ронэ, обнаруживает первоисточник у Шатобриана: «Подобные рассуждения встречаются у многих писателей, в том числе у Цицерона, но наиболее близка бальзаковская „формула“ к словам Шатобриана в „Гении христианства“. „О, совесть! — восклицает Шатобриан. — Может

³³ Реизов Б. Г. Бальзак. С. 42.

³⁴ Там же.

³⁵ Реизов полагает, что собранные в книге изречения «не только цитаты, а просто идеи, приходившие Бальзаку в голову, когда он читал книги о Наполеоне или размышлял о нем. Это, конечно, не мистификация, а скорее своеобразная, в апофтегмах изложенная интерпретация Наполеона, философия его деятельности и личности, живой, диалектически подвижный образ его» (Там же. С. 40).

³⁶ Там же.

³⁷ Этот парадокс присутствует уже в раннем романе писателя «Аннета и Преступник» (1824): «Если бы ты одним только взглядом мог убить в Новой Голландии человека, который должен вскоре погибнуть, и так, чтобы никто на свете не знал об этом, и если бы это *полупреступление*, как говоришь ты в сердце своем, доставило тебе большое богатство: ты бы сейчас уже жил в *своем* особняке, ездил в *своей* карете, ты бы говорил: *мои лошади, моя земля, мое положение!* Ты бы повторял, не смущаясь: *такой порядочный человек, как я*» (Там же. С. 149, пер. Б. Г. Реизова).

В парадоксально–сниженном ключе сюжет о китайском мандарине содержится в рассказе А. Бенетта «Убийство мандарина» (из сборника «Угрюмая улыбка пяти городов», 1907), пустая и тщеславная героиня которого совершает заурядное воровство: «Итак, она убила мандарина; убила, лежа в собственной постели; не определенного Мандарина, а вообще какого–то, наиболее подходящего для данного случая. Она преднамеренно желала ему смерти в надежде заполучить его богатство или, скорее, потому, что ей не хватало четырнадцати шиллингов и пяти пенсов, чтобы блистать на балу» (Бенетт А. Львиная доля. М., 1965. С. 106).

³⁸ Л. Н. Толстой, включая его в «Круг чтения», ссылается на Вольтера: «Вольтер говорил, что если бы человеку в Париже стоило пожать пуговку для того, чтобы убить мандарина в Китае, многие из любопытства пожали бы пуговку» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1957. Т. 42. С. 428).

быть, ты только создание воображения или страх человеческого возмездия?» (ч. 1, кн. VI, гл. 2). И далее следует тот же вопрос, который Растиньяк задает Бьяншону, только вместо „человека в Китае“ Бальзак написал „мандарин“³⁹. Весьма вероятно, что существует и более ранний источник. Нет уверенности, что Бальзак отталкивался именно от книги Шатобриана, хотя, бесспорно, «все элементы бальзаковской формулы в „Гении христианства“ содержатся»⁴⁰. Как бы то ни было, но парадокс о мандарине в XIX в. получил очень широкое распространение в Европе, особенно, естественно, во Франции. Он упоминается в романе А. Дюма «Граф Монте-Кристо». Возникло даже нечто вроде «мандариниады»: новелла О. Витю «Мандарин» (1848), водевиль А. Монье и Э. Мартена «А ты убил мандарина?» (1855), песенка Л. Прота «Убьем мандарина» и другие, чаще всего бульварные вариации на тему парадокса Шатобриана – Бальзака. Наконец, любопытное хронологическое совпадение: как раз в тот год, когда Достоевский, работая над речью о Пушкине, вспоминал диалог о мандарине в романе Бальзака, появилась философская притча выдающегося португальского писателя Эса де Кейроша «Мандарин»⁴¹.

Достоевский, разумеется, даже не слышал о португальском писателе и его повести. Мимо его внимания вполне могли пройти вариации на мотив «Убить мандарина» у французских литераторов второго и третьего рядов. Вряд ли Достоевский отчетливо помнил текст «Гения христианства» Шатобриана.⁴² Парадокс о мандарине он связывал только с романом Бальзака. Для Достоевского в равной степени были важны вопрос Растиньяка и ответ Бьяншона.⁴³ Ответ «чистой русской души» в речи о Пушкине, созвучный «ответу французского студента», эмоционален, драматичен, но в силу своей категоричности прост: «Пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть,

³⁹ Реузов Б. Г. Бальзак. С. 149–150.

⁴⁰ Ronai P. Tuer le mandarin. P. 521.

⁴¹ В этом аллегорическом произведении (симбиоз плутовского романа и философской повести в манере Вольтера) звучит не только обычное морализаторское «никогда не убивай мандарина», но гораздо сильнее — скептическое «утешительное» резюме: «И все же больше всего меня <...> утешает та мысль, что если бы ты, читатель, — создание Божие и столь же несовершенное, сколь несовершенна глина <...> мог бы так же просто, как я, уничтожить мандарина и унаследовать его богатство, то с севера до юга и с востока до запада, от Великой стены до самых вод Желтого моря, короче — во всей Китайской империи, уже давным-давно не осталось бы в живых ни одного мандарина» (Кейрош Э. де. Избр. соч.: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 514).

⁴² Достоевский упоминает книгу лишь однажды в письме к М. М. Достоевскому от 31 октября 1838 г.: «Напиши мне главную мысль Шатобрианова сочиненья „Génie du Christianisme“» (28; 55).

⁴³ Пользуюсь удобным случаем, чтобы исправить допущенную в комментарии ЛСС к речи о Пушкине (Г. М. Фридендер) досадную оплошность: герои романа Бальзака там поменялись местами: «пересказ того знаменитого эпизода из романа Бальзака <...> где Бьяншон предлагает Растиньяку, отбросив прочь свойственные „обыкновенным“ людям нравственные угрызения, дать свое согласие на „убийство мандарина“» (26; 455). Оплошность не была устранена и в новом издании, за что несу ответственность и я как соредактор тома (см.: Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. СПб., 1995. Т. 14. С. 696).

наконец, никто и никогда, и этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!» (26; 142). Достоевский предельно универсализирует парадокс, одновременно сопрягая частное и всеобщее, земное и вселенское, подчиняя все великому идеалу — «высшей гармонии духа», бесконечно расширяя этическое содержание парадокса, до высшего градуса усиливая эмоциональную температуру (особенно в главе «Бунт» романа «Братья Карамазовы», откуда с необычайной силой поставленные у «последней стены» вопросы перейдут в пушкинскую речь).

Вопрос заключает в себе опасную и коварную софистику, оправдывающую любую мерзость, любое преступление, в конечном счете приводящую к доктринам «все равно» и «все дозволено», к оправданию двойной морали и утверждению особых прав сильного, «сверхчеловека». «Мандарин» может превратиться в «глупую, бессмысленную, ничтожную, злую, большую старушонку», во вредную и отвратительную процентщицу, простейшие софистические соображения — в изощренные и талантливые речи и статьи, даже в своего рода «филантропический» проект, но злоеющая и дьявольская суть парадокса останется неизменной.

В творчестве Достоевского рассмотрены различные модификации соблазнительного и фантастического вопроса-искушения от огрубленно-прямолинейных до философских и, так сказать, космических. Одна из модификаций, особенно усложненная, дважды повторена. Сначала Ставрогин, обсуждая целесообразность самоубийства с Кирилловым (между прочим, это беседа двух будущих самоубийц), высказывает «новую мысль»: «...если бы сделать злодейство или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и <...> смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: „Один удар в висок, и ничего не будет“. Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?» (10; 187). Кириллов — и его очень можно понять — усомнился и повизне этой мысли, что не оспаривает и Ставрогин, который его почти не слушает и не ждет ответов на свои риторические вопросы. Ставрогину нужен двухчастный парадокс, особенно его вторая часть — после «новой мысли» следует «совсем новая мысль»: «Положим, вы жили на луне <...> вы там, положим, сделали все эти смешные пакости <...> Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?» (Там же). Кириллова все эти рассуждения не интересуют; он не совершал ни земных, ни лунных преступлений и «смешных пакостей». Да и Ставрогину необходимо, видимо, только свой фантастический монолог досказать. Он задает вопросы себе и в ответах, советах, репликах «других» не нуждается. И те же вопросы, но в более радикальной и развернутой редакции волнуют и героя рассказа «Сон смешного человека»: «Мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне или на Марсе и сделал бы там

какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок. какой только можно себе представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, — было бы мне *все равно* или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет?» (25, 108).

Разумеется, задаваясь бесконечными странными, фантастическими, «праздными и лишними» вопросами, герои Достоевского далеко удалились от терзавшего Растиньяка парадокса о мандарине. Но все же не так далеко, чтобы потерялась из вида та стартовая площадка, с которой они совершали свои «космические полеты» с земли на Луну и Марс (и обратно). И расположена она на литературном пространстве романа Бальзака.

Завершу настоящий сопоставительный этюд предположением, что в «Бесах» получила сложное преломление одна из самых знаменитых сцен романа «Отец Горио» — разоблачения и ареста Вотрена-Коллена, когда он показал себя во всем своем страшном величии: «Кровь бросилась в лицо Коллену, глаза его горели, как у дикой кошки. Он подпрыгнул на месте в таком свирепом и мощном порыве, так зарычал, что нахлебники вскрикнули от ужаса. При этом львином движении полицейские воспользовались переполохом и выхватили из карманов пистолеты. Заметив блеск взведенных курков, Коллен понял опасность и в один миг показал, как может быть огромна у человека сила воли. Страшное и величественное зрелище! Лицо его отобразило поразительное явление, сравнимое только с тем, что происходит в паровом котле, когда сжатый пар, способный поднять горы, от одной капли холодной воды мгновенно оседает. Каплей холодной воды, охладившей ярость каторжника, послужила одна мысль, быстрая, как молния <...>. Быстрота, с какой огонь и лава вырвались из этого человеческого вулкана и снова ушли внутрь, изумила всех, и шепот восхищения пронесся по столовой»⁴⁴.

Такую же необыкновенную силу воли проявляет Николай Ставрогин в главе «Премудрый змий», завершающей первую часть «Бесов». И столь же мгновенен, стремителен переход от ярости к хладнокровию — фантастический психологический процесс, с научной обстоятельностью описанный Хроникером: «Он схватил Шатова обеими руками за плечи; но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел, как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через десять секунд глаза его смотрели холодно и — я убежден, что не лгу, — спокойно <...>. Мне кажется, если бы был такой человек, который схватил бы, например, раскаленную докрасна железную полосу и зажал в руке, с целью измерить свою твердость, и затем, в продолжение десяти секунд, побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем, что ее победил, то человек этот, кажется мне, вынес бы нечто

⁴⁴ Бальзак О. Собр. соч. Т. 3. С. 178–179.

похожее на то, что испытал теперь, в эти десять секунд, Николай Всеволодович» (10; 166).⁴⁵

Литературные симпатия и пристрастия Достоевского, запечатленные еще на страницах писем 1830-х гг., отличались поразительной устойчивостью. Он сохранил верность кумирам юности, ставшим вечными спутниками его творческого пути, — Шекспиру, Сервантесу, Шиллеру, Гюго, Данте. Список, естественно, может быть продолжен, и в него непременно должен быть включен Оноре Бальзак, роман которого «Отец Горио» так многообразно преломился в произведениях Достоевского всех периодов творчества — от «Бедных людей» до Пушкинской речи.

⁴⁵ Отдаленно эта сцена перекликается с описанием Петрова в «Записках из Мертвого дома» — «самого решительного человека из всей каторги» (4; 85–87). Возможно, вспоминал Достоевский Вотрена–Коллена и в остроге.